

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОКРАИНЕ*

В О Й Н А

Объявление войны 18/31 июля 1914 года сразу же отразилось на жизни нашей окраины, а следовательно, и на деятельности Народного Дома. Петербург, переименованный в Петроград, был охвачен лихорадкой всеобщей мобилизации. Нужно было мобилизоваться и Народному Дому. Выбор был между занятием его под мобилизационный пункт военного округа или превращением его в лазарет. Мы, конечно, избрали последнее, тем более, что жаждали хоть как-нибудь обслуживать нужды нашей армии и родины. Лазарет, переданный в ведение Петроградского городского управления и, тем самым, Всероссийского Союза Городов, расположился в большом зале Дома и занял прилегающие помещения того же второго этажа. Подвальные же помещения и первый этаж остались в нашем распоряжении. Уцелели мастерские, детский отдел, библиотеки и, в малой степени, даже вечерние классы для взрослых, так что мы имели возможность, и при наличии лазарета, продолжать в уменьшенных размерах нашу обычную деятельность и обслуживать интересы не только раненых, но и местного населения.

Война выдвигала в этом отношении всё новые и новые нужды в своем тылу. На плечи городского управления легла обязанность ежемесячной раздачи денежных пайков семьям призванных на войну запасных, так как город, из своих средств, делал добавку к казенному, государственному пайку. Фактическое же заведывание этим делом было возложено на городские попечительства о бедных, которых Петербург, ко времени войны, насчитывал двадцать.

Народный Дом находился на территории 13-го попечительства, самого обширного в городе, занимавшего две трети его окраинной Александро-Невской части. Сотрудники Народного Дома, естественно, стали душой и двигающей силой этой деятельности. В наши обязанности входило обследование семейного и экономического положения всего населения нашего

* См. кн. 48 «Нов. Журн.».

района, значительная часть которого принадлежала к категории так называемых «угловых жильцов». Вот, когда мы дошли действительно до «дна» той толщи населения, которая впервые всколыхнулась во время войны, а позднее поднялась и все собой затопила в годы революции.

Тогда, в 1914 году, за пайками потянулись в Народный Дом вереницы женщин, которые впервые покидали свое жилье, впервые попадали на просторы Лиговки и Обводного Канала, а о Невском проспекте, главной и центральной артерии города, никогда и не слыхивали. Трудность добраться до первоначальной регистрации в Городской Думе на Невском была для них почти неодолима, так беспомощны были эти слепые, как кро-ты, впервые вылезшие из своих нор существа. Беспомощность эта стала быстро пропадать под давлением событий, и весной 1917 года эти же «запасихи», как их тогда прозвали, уже митинговали на улице, около Народного Дома, среди сугробов грязного, тающего снега, обвиняя нас в том, что мы крали их пайки, да и что сам Народный Дом был выстроен на краденные народные деньги. Ю... такие минуты, и много худших, неизбежны во времена великих народных потрясений. Невежество всегда подозрительно и хочет знать «где та правда, которую скрывают от народа».

В основе же своей наши взаимоотношения оставались добрыми. Городское управление передавало ежемесячно в распоряжение городских попечительств дополнительные средства для организации помощи детской и трудовой. По всему городу стали устраиваться детские ясли, сады, площадки; для женщин открывались мастерские шитья и вязанья, оказывалась и денежная помощь в случаях особо острой нужды. Впервые в России получили право на казенный и городской паек «гражданские», т. е. невенчанные жены ушедших на войну солдат и, думаю, что в этом факте значительную роль сыграло то, что решающей инстанцией в вопросе о назначении семье пайка было не какое-нибудь центральное бюрократическое учреждение, а близкие к жизни городские попечительства.

Когда в 1917 году начал сказываться в Петрограде недостаток продуктов и стали вводиться хлебные карточки, опять таки нам, городским попечительствам и сотрудникам Народного Дома, пришлось взять на себя местную организацию этого дела. Приходилось устраивать собрания пекарей, трактирщиков, ломовых извозчиков, заботиться о хлынувших на Петроград беженцах, выдерживать неожиданные нашествия из ночлежных домов китайцев-манчжур, которые были выписаны для работ на железных дорогах и которым, по контракту, был

обещан белый хлеб, тогда как теперь не хватало и черного... Городские попечительства, сотрудники которых все несли свой труд безвозмездно, как некую добровольную воинскую повинность, были той самой мелкой ячейкой городского самоуправления, которая принимала на себя первые удары народных нужд и бедствий в тылу фронта армий. И недаром, думается, мы считали себя тоже сидящими в окопах, бессменно, в течение всех трех лет войны.

РЕВОЛЮЦИЯ

Чтобы написать последнюю главу о той петербургской окраине, на которой вырос и жил наш Народный Дом, мне приходится остановиться на некоторых эпизодах моей личной биографии, которая за годы войны так тесно срослась с жизнью города и его обитателей, что разделить эти две струи мне уже невозможно, и хотя, физически, революция 1917 года и оторвала меня от Лиговки и Обводного Канала, но эта же окраина определила ход событий моей жизни и спасла меня в критические дни моего тюремного заключения и предания суду военно-революционного трибунала. Интересен в этих событиях, конечно, не личный элемент, а то столкновение, которое случайно разыгралось вокруг моей личности, столкновение между элементом насильственно-революционным с тем, что человеку по-настоящему полезно и нужно. В моем индивидуальном случае обыватель городской окраины победил насилие революционного трибунала, открыл передо мной двери темницы и вернул мне свободу. Но, под давлением событий, вновь обретенная формальная свобода не смогла уже вернуть меня на петроградскую окраину, которая стала «ленинградской».

Я бы дорого дала за то, чтобы никогда с этой окраиной не расставаться, но, освободив меня из тюрьмы в 1917 году, мой город смог мне даровать только трудную и долгую жизнь без него, вдали от него... очевидно, навсегда...

Итак, развитие хода событий было таково: до 1913 года — постепенный рост Народного Дома в замкнутых и тесных границах своего района; в 1913 году — расширение его просветительной деятельности и распространение ее на земские губернии России; с 1914 года — его тесное сотрудничество с петроградским городским самоуправлением и вхождение в сферу интересов государственного масштаба.

В результате изменения Временным Правительством избирательных законов городского самоуправления и предоставле-

ния женщинам тех же прав, которые давались мужчинам, меня избрали в 1917 году гласной петроградской Городской Думы и я попала в самую гущу политических событий.

До тех пор я никогда ни к какой политической партии не принадлежала и интересы мои были сосредоточены на вопросах просвещения и общей культуры, которые, по моему глубокому убеждению, одни могут дать прочную основу свободному политическому строю. Но так как многие из окружавших меня считали меня социалисткой, по роду моей деятельности и в силу того, что последняя протекала в среде рабочих и самых обездоленных слоев городского населения, я сочла необходимым, в момент обострения политической борьбы, с полной точностью установить свою позицию и отмежеваться от того социалистического безумия, которое охватывало страну: я записалась в члены партии народной свободы (к.-д.), которая одна тогда, из всех несоциалистических партий, открыто боролась с наступавшим большевизмом. Вся моя дальнейшая судьба определилась этим моментом.

В мае 1917 года я стала товарищем министра государственного призрения Временного Правительства, при министре князе Д. И. Шаховском, а в августе была назначена товарищем министра народного просвещения, которым тогда был С. Ф. Ольденбург. Мне было поручено заведывание отделом внешкольного образования. На этом посту меня и застал большевистский октябрьский переворот.

Министры Временного Правительства были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. По всей России шли выборы в Учредительное Собрание, созванное на конец ноября. Законной власти в стране больше не существовало и поэтому я, в первое же утро после переворота, с полного согласия всех старших служащих министерства, подписала распоряжение об изъятии из министерства тех сумм, которые хранились в его кассе в наличности, и о внесении их в банк, на имя Учредительного Собрания, которое одно могло явиться правомочным распорядителем правительственных средств. Должна к этому прибавить, что большая часть тех 93-х тысяч, которые оказались в министерской наличности, состояла из своевременно не выбранных жалований министерских служащих. Несколькими часами позднее министерство было захвачено большевиками, а через месяц, в ночь накануне предполагавшегося открытия Учредительного Собрания, меня арестовали и увезли в Смольный. Там, при допросе, мне предъявили подписанный мной ордер об изъятии министерских сумм и потребовали возвращения этих денег большевистскому правительству. На от-

каз мой сделать это, мне было заявлено, что я буду заключена в тюрьму и предана суду по обвинению в расхищении и растрате народного достояния. В этот самый день, в то время как я сидела в Смольном, Учредительное Собрание было большевиками разогнано.

* * * *

В тюрьму меня привезли около полуночи. В жарко нагретой, еле освещенной и прокуренной канцелярии тюрьмы дремал старый письмоводитель. Окурки папирос, разбросанные по всему полу, точно живые сбегались и сгущались около раскаленной железной печурки; пустые и недопитые стаканы чая громоздились на столах и подоконниках. Моя военная охрана покинула нас, сдав меня старому письмоводителю, воистину гоголевских времен. Едва очнувшись от сладкой дремы, распаренный и скучающий, он, не поднимая глаз, притянул к себе толстую реестровую книгу, взял перо в руки и приступил к исполнению своих обязанностей.

— Ваша фамилия.

— Панина, Софья Владимировна.

— Звание.

— Графиня.

Глаза отрываются от бумаги и с удивлением впервые глядят на меня поверх железного ободка очков. Большие, добрые, голубые глаза.

— Ваше занятие.

— Товарищ министра народного просвещения.

Пауза.

— Садитесь, пожалуйста.

Он сам встает, длинный и тощий, и передает меня в ведение вошедшей тюремной надзирательницы, которая должна отвести меня в камеру.

— Боже мой, Боже мой, и что же это еще будет! — хватается за голову надзирательница.

— Что же вас удивляет? — спрашиваю я.

— Да разве же мы не слышали про Народный Дом!

Дверь одиночной камеры захлопывается за мной.

— Софья Владимировна, это вы? — В окошечко моей одиночной камеры, в первое же утро моего заключения, заглядывает молодое женское лицо. Это одна из уголовных, которые по очереди убирают камеры, коридоры и лестницы тюрьмы, приносят нам пищу и исполняют разные работы по тюрьме.

— Я. А вы кто?

— Да Ньюша, Ньюша Евсеева, не помните? А я часто бывала у вас в Народном Доме, картины смотрела, музыку слушала. Да где вам всех нас помнить! А я вас хорошо помню. Господи Боже мой, и за что же они, ироды, вас сюда посадили?

— А вы, Ньюша, почему здесь?

Следует путаный и очень невразумительный рассказ о какой-то краже, причем у нас обеих немедленно же устанавливается убеждение в нашей общей невиновности и в нашей солидарности против общего врага.

И каждый день в окошечке моей камеры стали появляться всё новые Ньюши, Ксюты, Груши и Мани, которые знали меня по Народному Дому, а теперь всячески старались мне скрасить жизнь. Они с особенным старанием мыли мою камеру и до блеска начищали казенные медные таз и кувшин, которые служили мне для умыванья. Когда, раз в неделю, меня водили в ванную, одна из них непременно бежала вперед и скребла и чистила ванну. Они приносили мне добавочные куски хлеба, так как полагавшаяся нам порция была очень мала, и огорчались ужасно, если я отказывалась от них. Никакие сестры и друзья не могли быть более внимательны и заботливы, чем были эти милые молодые женщины, как-то запутавшиеся в тенетах жизни.

«Самая революционная» и «самая свободная» власть того времени, конечно, упразднила тот обязательный труд в прачешных, кухнях и разных тюремных мастерских, который вменялся в обязанность заключенным при царском режиме и являлся буквально спасением для них. Читать большинство этих женщин не умело. В результате, за исключением тех немногочисленных дежурных по тюрьме женщин, о работе которых я упомянула выше, все они буквально погибали от скуки и безделья в своих камерах. Я всё время наблюдала за одной из них, камера которой приходилась как раз против мой. У нее были замечательные рыжие выющиеся волосы, которые она всё время расчесывала и причесывала. Это было ее единственным развлечением и утешением. Тюремная тишина нарушалась только совершенно звериным зеванием заключенных — до того нестерпимы были эти скука и безделье.

Приглядевшись к этому положению и переговорив с некоторыми из женщин, я предложила тюремному начальству, т. е. большевистскому комиссару, заведывавшему тюрьмой, обучать заключенных грамоте. Разрешение дано не было.

Тем временем, Народный Дом, вернее та петербургская окраина, с которой я была так тесно связана, выступила в новой для меня, незабвенной роли, заставляющей меня теперь вспоминать об этом времени, как о самом значительном и счастливым в моей жизни.

По странной и необъяснимой случайности, в моих руках до сих пор сохранилась, преодолевая все пережитые разрушения и утраты, пачка писем, написанных мне тогда в тюрьму и после тюрьмы. Среди писавших было много очень известных имен, еще больше было совсем неизвестных, не только имен, но и неизвестных мне лиц. Конечно, большая часть выраженных мне тогда чувств относилась не столько ко мне лично, сколько к тому символу, который я в тот момент представляла, но именно это-то мне и дорого, т. е. дороги те «чувства добрые», которые «я лирой пробуждала». Да простят мне это сравнение. Лира поэта есть дар исключительный. Но лира человеческих чувств и действий вручается каждому из нас при его вступлении в жизнь. Моей многострунной лирой оказался Народный Дом со своими многочисленными сотрудниками. Я лично была лишь одной из струн этого инструмента, но в эти дни великих потрясений мне дано было счастье убедиться в том, что в сердцах людей мы за истекшие годы действительно пробудили те «чувства добрые», во имя которых шли к ним. Это было редким и мало заслуженным счастьем.

Для иллюстрации того, что я говорю, мне хочется привести здесь выдержки из двух документов того времени. Один из них — личное письмо ко мне от неизвестной мне женщины. Оно кончается следующими словами: «Мой отец был крепостным. Я — конторщица. Примите низкий поклон от меня, как дочери того народа, раскрепощению которого вы посвятили себя. Да сохранит Господь ваши силы и даст вам радость увидеть плоды трудов своих — истинно свободный русский народ, могущий создать условия, при которых лучшие люди страны будут вождями его, а не узниками, как теперь».

Второй документ — это бумага, написанная жителями Александро-Невской части, т. е. той городской окраины, на которой вырос Народный Дом. Они собрали несколько сот подписей и представили свое заявление в Совет народных комиссаров. Заканчивается эта бумага следующими словами: «Мы, жители Александро-Невской части, в рядах которых насчитывается не мало большевиков, испытали на себе и детях своих пользу тех или иных учреждений, основанных гр. Паниной, а потому взываем к тем, от которых зависит ее свобода, и восклицаем: отдайте нам нашего друга, возвратите нам творца

нашего благополучия... откройте двери темницы для гр. Паниной».

Я передаю текст этого документа во всей его наивности и гиперболичности. Всё в те времена было гиперболично, наименование же меня в тексте письма несколько раз «другом народа» являлось ответом на объявление меня советской властью «врагом народа».

И так, за стенами тюрьмы, неведомо для меня, шла борьба за мое освобождение. Это, повидимому, произвело некоторое впечатление на Смольный, потому что однажды меня повезли туда в казенном автомобиле и предложили выпустить на свободу, если я уплачу хоть часть министерских денег. Я, конечно, отказалась это сделать и была возвращена в тюрьму. Забавная подробность: так как для доставки меня с надзирательницей обратно в тюрьму свободного автомобиля не оказалось, то мы с ней поехали туда трамваем и шутили по дороге над тем, как легко было бы уехать в каком-нибудь совершенно ином направлении. Но «иное направление» в те времена в мои расчеты не входило, в тюрьме же меня ждал самый вкусный ужин — винегрет — который давался нам лишь раз в неделю. И так, мы с надзирательницей вернулись к винегрету...

* * * *

Первое заседание военно-революционного трибунала открылось 10-го декабря, в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича, на Петербургской Стороне.** Публика, среди которой было много моих друзей, набила зал до отказа и когда, под охраной стражи, я подошла к зданию, нам пришлось пробиваться сквозь густую толпу людей, которые уже войти в зал не могли. Когда я вошла в судебный зал, вся публика встала и устроила мне шумную овацию. За судейским столом, который стоял на эстраде, председательствовал рабочий Жуков, хотя и не с нашей окраины, но с другого конца той же Александро-Невской части, с «тракта», как тогда назывался район, лежавший между вокзалом Николаевской жел. дороги и Александро-Невской лаврой. Он был учеником Смоленских вечерних классов, организации родственной нашему Народному Дому.

«Присяжных» защитников, равно как и прокуроров, в этом импровизированном суде не было, и профессиональные

** Подробный отчет об этом заседании напечатан в № 31 «Вестника Партии Народной Свободы» от 28-го декабря 1917 г.

петербургские адвокаты принципиально отказались выступать в этих новых судах, которые считались ими пародией настоящего суда. Поэтому, когда накануне этого дня мне сказали в тюрьме о предстоящем на завтра суде и предложили пригласить себе защитника по собственному выбору, я протелефонировала не адвокату, а своему давнишнему знакомому и сотруднику, Я. Я. Гуревичу, прося его взять на себя мою защиту. Гуревич был директором гимназии, основанной в Петербурге его отцом, и был близким сотрудником театрального отдела Народного Дома.

Ритуал нового судопроизводства требовал, чтобы председатель суда, после окончания формального опроса подсудимого, предложил желающим из публики выступить с обвинительной речью. На это предложение никто не откликнулся. Тогда было предложено желающим выступить с защитительной речью. Гуревич встал и сказал свое спокойное, дружественное слово. Атмосфера в зале, хотя и была напряженная, но всё пока шло в пределах «умеренности и аккуратности». Дальше, однако, случилось нечто непредвиденное. Слово попросил «некто в сером» из публики.

- Ваша фамилия?
- Иванов.
- Профессия?
- Рабочий.

Иванов... — один из бесчисленных русских Ивановых — сказал в мою защиту свое слово... И теперь помню его содержание, главное — помню простоту его формы и искренность тона. Лично он мне был совершенно неизвестен, но оказался жителем нашей окраины и посетителем Народного Дома.

Его выступление произвело в зале эффект разорвавшейся бомбы и вызвало необыкновенное волнение среди судей. Засуетился Стучка, народный комиссар юстиции, который тут же присутствовал и руководил всей постановкой. Тотчас же был выпущен с обвинительной речью один из большевистских ораторов, правая рука которого, по усвоенной традиции, завертелась как мельничное колесо, едва поспевая за пулеметной скоростью вылетающих из его уст слов. Нес он невероятную околесицу. Из публики стали раздаваться крики: «врете!», «неправда!» и т. д. Мне было затем предоставлено заключительное слово, в котором я сказала, что исполнила только то, что считала своим долгом службы перед страной и постаралась выразить всем присутствовавшим ту благодарность, которая переполняла мое сердце после речи Иванова. После этого был объявлен перерыв и суд удалился на совещание, при

чем Стучка немедленно же юркнул за кулисы, в совещательную комнату судей, факт, по судебным традициям прежнего времени, совершенно недопустимый.

Сколько дорогих и дружественных лиц разглядела я тогда в зале! И как многих из них видела я тогда, сама того не подозревая, в последний раз!

Не помню, долго ли совещались судьи, но когда они, наконец, вновь заняли свои места на эстраде, за столом, приговор, который они мне вынесли, был неожиданно мягок: «ввиду моих прежних заслуг», мне объявлялся только «общественный выговор» и предлагалась свобода, при условии, однако, внесения в судебный трибунал изъятой из министерства суммы денег.

— Вы согласны внести эти деньги, гражданка Панина?

— На основании всего мной уже ранее сказанного — нет.

— Тогда вы будете возвращены в тюрьму.

— За вами сила.

Когда стража вновь повела меня через зал тесным проходом между столпившихся зрителей, публика устроила мне бурную овацию. Люди аплодировали, что-то кричали, руки тянулись ко мне — суд надо мной превратился в мой триумф.

Однако, тюремные двери вновь за мной захлопнулись и на этот раз, казалось, прочно. Положение получилось безвыходное: я никоим образом не могла передать государственные суммы, охрана коих оказалась на моей ответственности, власти, которую я не считала законной, власть же эта не могла отказаться от своего требования. Я стала мысленно готовиться к долгому тюремному сидению. Единственное улучшение моего положения, как «приговоренной», по сравнению с положением «подследственной», заключалось в том, что свидания с посетителями разрешались теперь в нормальном порядке, в тюремной приемной, а не происходили на расстоянии двух решеток, между которыми разгуливал часовой.

Приближалось Рождество, и учитывая, что во время праздников заключенным разрешались всякие поблажки, в виде дополнительных свиданий и передач, я предложила тюремному начальству устроить для заключенных чтение с волшебным фонарем, позаимствовав для этого весь нужный материал из Народного Дома. Разрешение это было дано, и за несколько дней до Рождества в канцелярию тюрьмы прибыли и фонарь Народного Дома, и указанные мною картины.

За стенами тюрьмы царила, однако, гораздо менее идиллическая атмосфера. Это были дни, когда вооруженные толпы

солдат петроградского гарнизона и дезертиров фронта громили винные погреба города. Многие из солдат до того напивались, что тонули в вине, которое лилось из разбитых бочек. Их пьяные крики и стрельба ясно доносились до нас, заключенных, во время наших ежедневных получасовых прогулок во дворе тюрьмы, и среди нашего начальства царило какое-то беспокойство, которое невольно передавалось и нам.

Это мое второе сидение продолжалось, однако, всего десять дней. В один прекрасный вечер смотрительница вошла в неурочный час в мою камеру и сказала, что меня требуют в канцелярию «с вещами». Я быстро спустилась с чемоданчиком в руке. В канцелярии стояли профессор И. М. Гревс, О. К. Нечаева и мой друг Александра Михайловна Петрункевич. Большевикский комиссар тюрьмы объявил мне, что я свободна и протянул мне копию бумаги следующего содержания (она у меня сохранилась):

Следственная Комиссия при Петроградском Совете Рабоч. и Солд. Депутатов, 19 декабря 1917 г., № 6867.

Следственная Комиссия выдает настоящую расписку Ивану Михайловичу Гревсу в том, что получила от него 90.000 (девяносто тысяч руб.) 5%-ми краткосрочными обязательствами Государственного Казначейства и 2.802 р. 72 к. (две тысячи восемьсот два р. 72 к.) наличными деньгами в возврат в кассу Комиссариата Народного Просвещения, изъятых гражданкой С. В. Паниной из кассы быв. Министерства Народного Просвещения сумм, согласно постановлению Революционного Трибунала, 10 декабря 1917 г. по делу Паниной состоявшемуся.

Председатель (М. Козловский).

Секретарь (подпись неразборчива).

Печать Следств. Комиссии.

Оказалось, что пока я в неведении сидела за решеткой, друзья мои продолжали свои деятельные хлопоты о моем освобождении. Всероссийский Союз Учителей открыл подписку на сбор тех 93-х тысяч, которые нужны были, чтобы выкупить меня из тюрьмы. Первый рубль на этом листе был пожертвован рабочим.

Сбор денег в то время был неизбежно крайне медлен, так как все банки были закрыты, сейфы конфискованы, у богатых людей шли домашние обыски и все сидели совершенно без наличности. Учтя полную безнадежность быстрого сбора в таких условиях, Комитет для доставления средств Петербургским Высшим Женским Курсам решил авансировать необходимую сумму из своих средств с тем, чтобы она постепенно покрыва-

лась производимым сбором (Комитет никогда полностью этой суммы обратно не получил), и командировал вышеназванных мною лиц из своего состава внести деньги Следственной Комиссии и получить меня на руки.

Этим эпизодом мои сношения с тюрьмой, однако, не закончились.

В то самое время, как добрейшая О. К. Нечаева, с сияющим лицом, принимала меня в свои широкие объятия и мы все, оживленно разговаривая, стали прощаться с голубоглазым письмоводителем и большевистским комиссаром тюрьмы, последний вдруг обратился ко мне с вопросом:

— Ну, а как же с чтением на Рождестве, которое обещано заключенным?

— Да, с чтением... — недоуменно и с разочарованием в голосе повторили письмоводитель и смотрительница.

— Если разрешите, я с удовольствием приду к вам в день Рождества и устрою обещанное чтение, — сказала я.

Маленький, в кожаной куртке и с наганом за поясом, комиссар подошел ко мне, взял мою руку и поцеловал ее.

* * * *

В день Рождества я с моей двоюродной сестрой шагали по глубоким снежным сугробам, которыми в эту зиму были завалены не расчищенные улицы Петрограда. Сугробы эти на Выборгской Стороне, около тюрьмы, превращались в настоящие горные цепи.

Большой зал одного из тюремных корпусов был битком набит заключенными. В первом ряду, под особым надзором, сидели женщины-убийцы, насколько помнится, в наручниках; дальше ютилась уголовная мелкота, все мои Юши и Ксюты. Темой своей я избрала: «Рождество Христово». Я показала им виды Палестины, прочла евангельский текст, описывающий событие, показала воспроизведения картин великих художников разных национальностей, изображавших Рождество Христово, и прочла одну из легенд Сельмы Лагерлеф, из ее «Легенд о Христе». Когда я кончила, комиссар тюрьмы попросил меня повторить это чтение на следующий день для заключенных другого тюремного корпуса, которых не смог вместить зал, и я, конечно, с радостью исполнила его просьбу.

Так, на короткое мгновение, установилась связь между двумя окраинами города и перекинулся мост взаимного понимания между всеми нами, людьми столь различных «классов»,

образования, политических взглядов и духовных и умственных культур.

Для меня эти дни остались навсегда эмблемой открытых возможностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7 апреля 1923 года Народному Дому исполнилось 20 лет жизни. Он пережил к этому времени все революционные бури и эпоху запущения и голода, когда, превратившись в центральный питательный пункт своего района, он обслуживал лишь эту, самую острую нужду окружающего населения, а теперь, под именем «Народного Дома имени поэта Некрасова», вновь возрождался в своей культурной сущности. Его двадцатилетие должно было торжественно праздноваться.

Из далекой Женевы, где я тогда жила в своем изгнании, я послала Народному Дому свое приветствие.

Женева, 7/20 апреля 1923 года.

Дорогие, бесконечно дорогие друзья мои,

К вам, бесценным и незаменимым моим руководителям, помощникам и сотрудникам, к вам, бывшим и настоящим ученикам Народного Дома, к вам, бесчисленным его посетителям, всегда мне дорогим и памятным, — ко всем вам устремлены мои чувства и думы в этот знаменательный день двадцатилетия нашего учреждения, чествование которого связано и с чествованием уже исполнившегося 25-летия нашей библиотеки.

Из далекого далека хочу я сказать вам, что никакие географические расстояния не могут преодолеть любви человеческой и что всем сердцем своим я никогда не переставала быть с вами в течение тех бесконечных пяти лет, что я вас больше не вижу.

Я знаю, что как бы ни разделяли некоторых из нас входящие обстоятельства, у всех нас, живших когда-то одной жизнью в стенах нашего Дома, останется общий язык, возможность взаимного понимания и, во многом, общность устремлений.

Двадцать лет тому назад, в годы иного безвременья, Дом этот вырос и создался силой любви, во имя достоинства, знания, правды и свободы личности. Этими началами руководствовался он во всей своей деятельности, памятуя, что только на свободной, сильной, честной, просвещенной и самоотверженной личности может построиться и устоять счастливое человеческое общество.

Я мало знаю о последних пяти годах жизни Дома и его сотрудниках. Не сомневаюсь, конечно, в том, что вместе со всей Россией ему пришлось пережить много лишений и испытаний и, может быть, почти погибнуть как учреждению. Пришлось, конечно, потерять и многих из прежних своих сотрудников: я знаю, что смерть унесла нескольких членов нашей прежней дружной семьи и скоро, быть может, в стенах Народного Дома не останется почти никого из первых его вдохновителей и руководителей.

Но всё это меня не страшит, как бы тяжело подобные потрясения ни переживались отдельными людьми и какими бы временными искажениями и испытаниями они ни угрожали самому учреждению.

У идей и чувств есть своя логика и своя история, своя непреклонная закономерность, которая сильнее и невежества, и лжи, и заблуждений, и насилий, и которая никогда не может допустить, чтобы смерть стала сильнее жизни там, где эта жизнь раз зародилась.

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

Вот эта-то «живая душа», я верю, жила, живет и будет жить в нашем Народном Доме. И в нынешнее двадцатилетие нам важно не то, что от того светлого пасхального дня, когда мы открывали Народный Дом, прошло 20 раз по двенадцати месяцев, и 20 раз по 365 дней, важно не это формальное наше существование, а важно ответить на один только вопрос: сохранили мы в этом Доме «душу живую», душу любви, душу устремленную к свету. Пускай она страдала и болела со всеми нами за эти годы, пускай временами чуть теплился ее огонек, но если не отлетела, не умерла, то мы действительно можем праздновать день 7/20 апреля и знать, что будущее за нами, что именно наша любовь и правда и вера в человека победят все временные лишения и бедствия и построят когда-нибудь то царство радости и справедливости, до которого мы лично, конечно, не доживем, но которое всё же будет нашим царством и нашим делом, поскольку мы его будем строить теперь.

Так вот, друзья мои, так как я верю, что вы эту «душу живую» сохранили и соблюли в себе и в нашем Доме, то я и приветствую вас в день нашего праздника со всей своей неизменной и старой любовью.

Пускай строки эти приобщат и меня, далекую, к вашему торжеству и скажут вам, что и время и пространство бессиль-

ны ослабить ту связь нашу, которая построена на таком прекрасном прошлом и на общей нашей вере в еще лучшее будущее.

С. П.

Приветствие это было прочтено в Народном Доме в день юбилейного праздника. Правда, начальство не допустило его оглашения в большом зале, где происходило главное торжество, найдя, что «дух его не соответствует времени и требуемой идеологии», но старые ученики Дома собрались в другом, меньшем, зале и публично прочли мое послание. Более того, они организовали между собой «Панинский кружок», главной задачей которого стало поддержание в Доме тех основных принципов, которыми он руководствовался с самого начала своей деятельности.

«Душа» оказалась жива.

С. В. Панина